



Алексей Поликовский

MORRISSEY

Путешествие шамана

Алексей Поликовский
Моррисон.
Путешествие шамана

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12192069

ISBN 9785447429393

Аннотация

Теперь на улицах другие лица, А здесь, приятель, похоронен
Джим. Он умудрился вовремя родиться И умереть со временем
своим.

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Моррисон. Путешествие шамана Алексей Поликовский

© Алексей Поликовский, 2015

© Фрагмент обложки диска The Doors/Soft Parade, дизайн обложки, 2015

Автор стихотворения на обложке Галина Яцковская

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Часть первая

1.

На Крите я однажды спустился с гор на маленькой белой машинке *Seat Marbella*, арендованной за копейки, – крошечные колеса, мотоциклетный движок, кондиционера нет, зато есть люк в крыше, незаменимый в сорокаградусный солнцепек, – и, весь потный от жары и горных серпантинов, сел выпить воды за столик кафе в небольшом курортном городке. Напротив, через дорогу, за широким пляжем, блаженно-голубое море накатывало на берег маленькие волны, увенчанные пенными завитками. Был час сиесты, на улицах ни души, двадцать столиков кафе пусты. Но за двадцать первым, угловым, в дальнем от меня конце террасы сидел грузный тип в цветной рубашке с короткими рукавами, с длинными волосами и бородой. Отросшие волосы и борода выглядели крайне несовременно, сейчас так не ходят. Он сидел вполоборота ко мне, и было件нятно, что вот так, никуда не торопясь, он проводит здесь долгие дневные часы, глаза на море и выпивая; он сидел лицом к уходящей вдаль улице, к ряду пальм, к пляжу, к морю, к небу, и в его крупной руке был высокий стакан. Что-то в его облике меня даже не привлекало, а задевало, я не мог оторвать от него глаз: этот странный посетитель пустого кафе выглядел пришельцем из иных

времен, персонажем другой, давно оконченной пьесы. В какой-то момент он ощутил мое чересчур настойчивое внимание, повернулся ко мне, встретился со мной взглядом и иронически зажмурил правый глаз.

В молчании мы смотрели друг на друга. У меня возникло неприятное ощущение: мне показалось, что он отлично знает мои мысли, и именно с этим связана его ирония. Он не отворачивал лица, смотрел на меня с тем же любопытством, что я на него. И лицо, и длинные волосы, и борода, и прищуренный глаз были точно такие же, как на отличной фотографии Эндрю Кента. Джим Моррисон на этой фотографии сидит за столиком в кафе, и перед ним стоят стаканы и пара бутылок. Сходство потрясающее. И я подумал: *вдруг это действительно он?* Вдруг это он, Джим Моррисон, прибавивший три десятка лет, набравший вес, купивший себе цветную рубашку, сидит в кафе на Крите в самую жару и с ленцой попивает виски *Chivas Regal* с кока-колой, поглядывая на очередного чувака, который узнал его. Вдруг это он, слинявший из Парижа, исчезнувший неизвестно куда, ни от кого особенно не прячущийся, никому особенно не нужный? Минуту или две я мучительно соображал, что должен теперь сделать; подойти к нему, наклониться и спросить с многозначительной интонацией, вполголоса: «You are Jim Morrison, really?» А что дальше? Если он кивнет? Что я сделаю, если он кивнет? Попросить автограф? Взять интервью? Все, что я мог сделать в таком случае, оказывалось абсурдным.

Какое-то тоскливое, тяжелое чувство накатывало на меня в этом райском месте, в полусотне метров от прекрасного моря, по которому когда-то плавали Одиссей, Ричард Львиное Сердце и Горацио Нельсон: чувство обреченности, чувство невозможности, чувство ограниченности. Нет, я этого не сделаю. И прищур его правого глаза говорил о том, что он заранее знает, что я этого не сделаю.

Я допил свою холодную, пронизанную пузырьками воду, расплатился и вышел из-под красно-белого полосатого тента на одуряющий солнцепек. Прошел вдоль длинного ряда припаркованных «пежо», «рено», «ауди», «мерседесов» и через пару минут добрался до моей белой малышки на маленьких колесах. Руль обжигал, на него было больно положить ладони. Я поднял люк и тронулся с места. Мой путь лежал по горным серпантинам вверх, все выше и выше, туда, где растут сосны и на поворотах стоят маленькие белые часовни с синими ставнями. Я носился по Криту часами, отрабатывая прохождения поворотов на горных дорогах. Но я думал о нем. Грузный человек с прической и бородой старого хиппи остался сидеть в пустом кафе, спокойный и одинокий, никуда не спешащий, ни к чему не стремящийся, свободный от любого желания. Возможно, он будет сидеть там до вечера, а вечером встанет и пойдет, чуть пошатываясь, куда-то еще. Я знал, что это, конечно, не он, – думать так было удобнее и спокойнее, – но еще я знал, что упустил шанс и что больше никогда в жизни *его* не встречу.

Отчего я не подошел к нему, кто бы он ни был, этот длинноволосый бородатый человек с грузной фигурой, с до боли знакомым лицом и стаканом виски в руке? Отчего я только смотрел на него в сомнении и потрясении, тогда как он уверенно буравил меня иронически прищуренным правым глазом? Тут было, конечно, обычное бытовое смущение, запрещающее нарушать дистанцию и первым заговаривать с незнакомым человеком, но главное все-таки не в этом. Главное – неверие в чудо. Встретить Моррисона на Крите было бы чудом, и кто-то – то ли Всемогущий, разыгрывающий нашу жизнь, как шахматную партию, то ли Вселенский Компьютер, выбрасывающий один билетик с выигрышем на тысячу с проигрышем – предложил мне это чудо, преподнес его в чистом виде, в пустом кафе, в раскаленный час; мне всего-то надо было решиться на маленький поступок, подойти к нему, заговорить с ним, но я не смог.

Я был как Фома неверующий, которому Христос велел вложить пальцы в рану. Как можно не верить, чувствуя разъятую плоть под своими пальцами, видя живую кровь на них? Христос сокрушил неверие Фомы, и сокрушенный Фома уверовал в него тем сильнее, чем глубже и упорнее только что было его неверие. Но поверил бы я, если бы седой обросший человек встал из-за столика, подошел ко мне и сказал, что он Джим Моррисон? Я бы и тогда не поверил. Я бы и тогда уворачивался внутри себя от этого знания, выдвигая, как

щит, самые дурацкие аргументы. *Этого не может быть! Этот тип зарабатывает в кафе, выдавая себя за Моррисона, подобно тому, как другой подобный тип зарабатывал в кафе в Гаване, изображая из себя Хемингуэя.* И даже если бы он сел за мой столик и в доказательство своего существования знакомым голосом спел несколько строчек из *People Are Strange*, я бы каждую минуту ждал подвоха и не верил ему вплоть до того мгновенья, когда он, ухмыльнувшись, поднялся бы и пошел прочь. И тогда я опять погрузился бы в сомнения.

Знать трудно, не знать приятно. Знающий человек обречен действовать – точное знание требует действий, настаивает на них – тогда как жизнь в зыбком тумане сомнений лишена решений и поступков. Зачем что-то делать, если не понятны ни причины, ни последствия? Зачем шарить руками вслепую, если не знаешь, чтохватишь, а что опрокинешь? Зачем рисковать, если можешь налететь лбом на кирпич, провалиться ногой в ад и наткнуться ладонью на ежа, который тут же всадит в тебя все свои иголки? Все это так, но при этом в бездействии, незнании и сомнении есть потеря. Не двигаясь, не прорвешься. Не рискуя, не получишь. Не попробовав, не узнаешь, умеешь ли летать, способен ли жить сразу в двух мирах и открыты ли для тебя двадцать веков истории и шестьдесят шесть измерений пространства.

Моррисон всю свою жизнь – или по крайней мере первые двадцать семь лет своей жизни, открытые для наблюдения

и изучения, – прорывался *на ту сторону*, совершал рискованные и безумные поступки и расширял поле возможного, даже если это шло в ущерб состоянию его ума и крепости его здоровья. Но он плевал на состояние здоровья и устойчивость ума, он игнорировал их, как пустяковые обстоятельства, которыми можно пренебречь. Я, всю свою жизнь слушавший его музыку, читавший его стихи, изучавший записные книжки, после его смерти выданные публике на обозрение, оказался плохим учеником. Я не усвоил его веры в невозможное, его страсти к нарушению, его то радостного, то мрачного стремления попасть в бред. Мне представилась возможность, но я задумался и не рискнул, задержался на карнизе и не прыгнул – в общем, остался здесь, на привычном, обычном, скучном островке общеизвестного и дозволенного. На этом островке люди знают, что Повелитель Ящериц мертв, что воскрешения не бывает, что чудесные встречи случаются только в сказках, а в жизни самое главное – это хорошая жилплощадь и хорошая зарплата.

Книгу о нем – *вот эту книгу* – я хотел написать много лет. Я задумал ее еще в те далекие годы, когда он смутно проступал передо мной сквозь туман незнания: темная фигура на розовеющем небосводе, молчаливый герой с длинными волосами и круглыми скулами. Пластинки Doors я еще мог в то время кое-как доставать на черном рынке, но мне не были доступны ни его интервью, ни книги о нем, ни фильмы.

Он казался мне таинственным и непознанным, и я с удивлением и неверием узнал в восьмидесятые от одного знакомого, побывавшего на Западе, что Моррисон – одна из самых подробно описанных в роке фигур. В то время я работал в журнале «Ровесник», где западная пресса хранилась в огромных сейфах с лязгающими дверями и выдавалась сотрудникам для работы под расписку. Я преступным образом выдергивал и вырезал из выданных мне журналов и газет все, что имело отношение к Моррисону. Язык публикации не имел значения. Я не знал итальянского, но с хрустом выдернул страничку из итальянского журнала «Ероса», где было опубликовано эссе о нем; я не переводил с английского (этим в редакции занимались другие), но, орудуя длинными редакционными ножницами, искромсал «New Musical Express», где была опубликована рецензия на книжку Джерри Хопкинса и странная картинка, на которой половина лица Моррисона имела портретное сходство, а другая состояла из вращающихся планет, ползущих ящериц и иных элементов мироздания.

Все эти разрозненные похищенные страницы я хранил в папке *на будущее*. Я был как папуас, который ворует у белых людей их часы, визитные карточки, носовые платки и запонки, сам не зная, зачем они ему нужны, но чувствуя, что таким образом приобщается к их силе и славе. Он хранит визитные карточки и запонки на плоском камне в своей хижине, в уверенности, что придет час и эти прекрасные ве-

щи оживут и скажут веское слово в его судьбе. Домашние архивы и собрания раритетов подобного рода были распространены в СССР: люди хранили старые чешские журналы о фотографии и привезенные с Запада газеты, целлофановые пакеты с надписью «Marlboro» и пустые бутылки из-под виски. Виски давно было выпито, но и бутылка из-под него считалась большой ценностью. Ее ставили на кухонную полку, и она украшала жизнь. Так и собрание газетных вырезок на трех или четырех европейских языках украшало мою жизнь и напоминало мне не о прошлом, а о будущем, которое когда-нибудь да настанет. В этом прекрасном будущем я непременно напишу о нем книгу.

Жизнь – это череда невозможностей, которые мы сами себе придумываем. Сначала я знал, что не могу написать книгу о Моррисоне потому, что ничего не знаю о нем. Потом, когда советский мир рухнул и границы открылись, я убедился, что не могу написать книгу о нем, потому что в то время, пока я хранил в папочке пожелтевшие странички и любовался пустыми бутылками из-под виски, другие люди написали о нем уйму книг. Моррисон действительно многократно воспет и описан со всех сторон, как какой-нибудь экзотический вулкан со снежной шапкой или удивительная сикомора с двумя стволами. О нем писали поэты и журналисты, исследователи и фотографы, восхищенные фанаты и трезвомыслящие историки. Рей Манзарек и Джон Денсмор написали о нем мемуары, они же плюс Робби Кригер

дали множество интервью, Патриция Кеннили, ставшая женой Моррисона по кельтскому свадебному обряду, приняла его фамилию и написала о нем книгу в пятьсот страниц, Оливер Стоун снял о нем похабный фильм, и в довершение всего некоторое время назад стал выходить в свет альманах «Doors Quarterly», наполненный статьями и сообщениями таких глубоких знатоков темы, перед которыми я чувствовал себя наивным любителем.

Даже тайну, которую Моррисон оставил после себя, исходили вдоль и поперек юные и пожилые следопыты. Идти по следам Моррисона – значит идти в толпе, – занятие, которое действует мне на нервы. Поклонники фотографировались у дверей квартир, где он ночевал, и помещали в Интернете заметки, написанные на плите его могилы. Джон Сеймур, американский фотограф, одержимый идеей как-нибудь – хоть украдкой, хоть из-за угла – сфотографировать живого Моррисона и предъявить фото всему миру, написал о своих поисках книгу под названием «The End». Он охотился за Повелителем Ящериц, как за лох-несским чудовищем, но результат был тот же, то есть никакого. Немец Райнер Моддеман выпустил путеводитель по местам в Париже, связанным с Моррисоном, и таким образом еще более увеличил число людей, которые ходят по маршрутам героя, с помощью перископа заглядывают в окна его последнего обиталища на rue Beautreillis, 17 и в конце концов удовлетворенно выпивают символическую рюмочку в «Hard Rock Cafe».

Моррисон превратился в туристический аттракцион, в культ личности для восхищенных сетевых тусовщиков, в иконку для клерков, которые, устав после рабочего дня, проведенного в офисе, врубают *L.A. Woman* в своем «вольво» и мчатся в мегамолл делать покупки и есть морскую пищу в ресторане. Да, Моррисон теперь и их герой: а как же, он ведь был настолько смел, что не работал в банке!

Осенью 1974 года, держа в руках голубоватый конверт диска *Waiting for the Sun*, я понятия не имел, кто такой Моррисон и что это за группа Doors. Совсем другие команды занимали мое воображение: я слушал Deep Purple, балдел от Led Zeppelin и восхищался Uriah Heep. Моррисона в той далекой Москве семидесятых не знал не только я, его не знал вообще никто. Даже самые продвинутые люди, в век дефицита и запрета слушавшие по десять новых дисков в день, пожимали плечами, услышав название группы: «Doors?» Тут они морщили лоб и корчили гримасу: «Ну да, есть что-то такое, слышал как-то раз...»

Я уже не помню, откуда взял тогда этот голубоватый *Waiting for the sun*. Через мои руки проходило много самой разной музыки. Я был завсегдаем черного рынка на Тверском бульваре. По воскресеньям между Тверской и Никитской, напротив того, что сейчас является новым зданием МХАТа, а тогда было вечным недостроем в виде круглой кирпичной громады, напоминавшей заброшенный римский

цирк, собиралась толпа людей, одержимых музыкой. В основном это были молодые фанаты рока, но иногда тут попадались и джазмены с интеллигентными лицами, разыскивавшие диск Колтрейна, а также пожилые джентльмены в длинных горчичных пальто с отвисающим хлястиком, мечтавшие найти редкие записи Козловского. Толпа переливалась по бульвару, сгущалась вокруг скамеек, образовывала кружки и кучки, в которых обсуждались евро-американские новости: последний альбом Элтона Джона или двойной концертник Uriah Heep. Хищные морды профессиональных спекулянтов выныривали тут и там. Эти приезжали на бульвар на «Жигулях», в которых оставляли пузатые портфели, набитые дисками. Однажды, когда я договорился со спекулянтом (теперь сказали бы: индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица) об очередной покупке, он деловито сказал мне: «Ну, пройдем в машину!» – и все во мне обмерло. Он засмеялся: «Не бойся, я не из милиции!»

Милиция подкатывала неожиданно. Два милицейских УАЗа бесшумно подъезжали прямо по бульвару с двух сторон, от Горького и Никитских. Я, увлеченно рассматривавший картинку на обложке вожаемого диска, вдруг оказывался посредине людского потока, мчащегося с дикой скоростью. Взрослые люди – научные сотрудники, аспиранты, отцы семейств – с перекошенными лицами, с развевающимися шарфами, роняя шапки, неслись по газонам к выходу с буль-

вара. Я с перепуганным сердцем и спотыкающимися ногами устремлялся вслед за ними. Но менты никогда не уезжали без добычи. Они каждый раз хватали какого-нибудь зазевавшегося бедолагу и увозили в отделение. Тогда люди малыми группами и поодиночке возвращались на бульвар из ближайших подъездов и подворотен, и торг продолжался...

Сейчас все это кажется нелепым, архаичным, анекдотичным, но тогда с пластинками рок-групп было связано ощущение жизни на пограничной черте. Ощущение несвободы не объяснишь тому, кто вырос в свободе. Не объяснишь, что значит жить в стране с советским телевидением, по которому ежевечерне транслировались эстрадные концерты, вызывавшие отвращение у меня и мне подобных отщепенцев. Гладенькие певцы с героическим пафосом на лицах пели про БАМ, про стройотряды, про космонавтов, про героические стройки, про рабочую судьбу и звезду надежду. В зале, слушая их с пристойным вниманием на лицах, сидели коротко подстриженные, опрятно одетые в костюмы советские граждане, которые казались мне манекенами, у которых вместо души картонные папки со шнурочками. Как они могли слушать насквозь фальшивые песни мерзких ВИА и не орать ругательств в ответ? Как они могли быть такими спокойными, такими довольными, такими ровно-тупыми посредине мертвенной всеобъемлющей лжи? Но они могли, они занимали собой всю жизнь, они царили в ней, эти умеренные до подлости люди, с которыми я сталкивался по десять раз на дню.

В институте они терроризировали меня, требуя постричься, а когда я наконец вылетел из института, то легче не стало: трупоеды и лжелюди были повсюду. Куда бы я ни сунулся, везде сидела тетка с ненавистью в маленьких глазках, которая требовала от меня то трудовую книжку, то комсомольский билет, то справку из ЖЭКа, то короткой стрижки, то печати о благонадежности на лбу.

Это было общество, помешавшееся на благонадежности. Это был лицемерный и ханжеский мир людей в черных тяжелых пальто и с белыми разводами на стоптанных сапогах, выстраивавшихся в очереди на кривых, выщербленных тротуарах, мир мертвых слов, заполнявших страницы газет и радиоэфир, мир, по которому рыскали стукачи и ищейки, у которых был невероятно развитый нюх на все *другое*. То, что у тебя в голове скрытно бегают запрещенные мысли о Джиме Моррисоне, они усекали с ходу. И тогда в их голосах появлялись интонации инквизиторов, а в глазах мерцал серый лед. Невозможно было от них укрыться, каждый выход в мир непременно вел к столкновению и отвержению. Через несколько лет, когда я, уже заканчивая педагогический, явился в РОНО устраиваться на работу в школу, очередная тетка с фальшивым ласковым лицом и глазами суки сказала мне: «Вы бы посмотрели на себя... как вы выглядите... с холщовой сумкой...» У меня действительно была очень удобная самодельная холщовая сумка, раскрашенная в цвета американского флага, в которую умещалось все, от пласти-

нок Doors до бутылок портвейна. Тетка сочла ее невозможной для учителя. Она меня выбраковала, перевела в некондицию. Для такого решения они всегда находили предлог: им не нравилась твоя сумка, твои пыльные туфли, твои длинные волосы, твои небритые скулы, твои размашистые жесты, твоя ухмылка, твоя походка, твой голос, твое лицо, ты сам.

Я плевать на них хотел. Они были мне не нужны, и я бы с удовольствием покинул их и отправился в Вудсток или на Луну. Я был партизан рок-н-ролла, целыми днями слушавший выуженные на бульваре пластинки. Вечерами я распивал с друзьями то водку, то вино в сквериках и садиках вокруг улицы Горького, а по ночам писал в общие тетрадки в клеенчатых обложках очередной роман. Все это было безнадежно, но весело. Мы были изгой, у нас не было ни малейшего шанса, и мы с самых молодых лет знали, что единственный способ выжить – это бежать вниз, в придонные ниши, в расщелины у самого дна, в подвалы сторожей, в каморки дворников, в пивной зал у Киевского вокзала, сокращенно именовавшийся КПЗ, на флэды, где играет правильная музыка и бывают только свои. К тому времени я уже собрал на рынке пять из шести альбомов Doors, и мистер Джеймс Дуглас Моррисон, отщепенец и алкоголик, уже был моим другом.

Первый альбом Doors – тот самый, где четверо изображены с отрешенными и растерянными лицами вечных эми-

грантов – я купил на деньги, полученные за продажу ондатровой шапки, подаренной родителями. Возможно, эта шапка стоила дороже тех 60 рублей, что мне дали за нее в комке на Люсиновской, но во мне никогда не было ни вкуса к торговле, ни умения блюсти собственную выгоду. Альбом стоил 60 рублей, именно за столько я отдал им шапку и был счастлив, возвращаясь с пластинкой домой. О, это предвкушение новой музыки в закрытой со всех сторон, герметически закупоренной стране, это ощущение сродни предвкушению чуда!

Коллекционеры и знатоки недаром собирают винил. Сияющее серебро компакт-дисков превращает музыку в легковесный, покрытый блестками поток, тогда как черная массивная пластмасса странным образом сохраняет в себе глубину звука и его тепло. Есть наслаждение в том, чтобы осторожно достать пластинку из конверта и, держа ее между двух напряженных ладоней, рассматривать желтовато-коричневый лейбл фирмы «Elektra» и читать мелкие буквы указанного внизу копирайта. И я испытывал острое, почти эротическое наслаждение, когда ставил пластинку Doors на диск проигрывателя и аккуратным, невесомым движением двух сложенных пальцев опускал иглу на самый край¹. Вот тут, через это движение, проходит граница обыденности и приключения. Когда игла уже стоит на краю вращающейся, чуть

¹ Запиленные диски или диски с царапинами часто подбрасывали иглу и заедали. Тогда требовалось положить на иглу ластик. Или тяжелый, добротный советский пятак. (Здесь и далее – прим. авт.)

покачивающейся, крутящей вместе с собой размазанный луч света пластинки, ждать остается недолго; и неизбежное тихое шипение сопровождает наше приближение к чуду звука, к грому динамиков, к первым аккордам любви.

Пластинки в то время, о котором я говорю, были безусловной материальной ценностью. Они дорого стоили, это факт. Семьдесят пять рублей, которые я отдал как-то за *Abbey Road*, составляли больше половины моей учительской зарплаты. Но даже не в деньгах дело. Яркие глянцевые конверты и цветные лейблы с английскими названиями аккумулировали в себе ощущение чужой и запретной жизни. Эти пластинки выходили в Америке и Англии, что было для нас тогда равнозначно Марсу и Венере. Там, на красном Марсе и голубой Венере, в чистом воздухе свободы, существовала иная, прекрасная жизнь, в которой нам никогда не бывать. Однажды мне попала в руки английская газета – да нет, не газета даже, а только мятая страница, выданная из газеты, – я приволок ее домой и долго изучал расписание представлений в театрах города Лондона. В одном из театров шла рок-опера *Jesus Christ Superstar*. Я обалдел. Меня потрясло, что об этом сказано не огромными буквами заголовка, а маленькими буквами ординарного объявления, затерянного в нижнем углу полосы. *Ни фига себе, они могут хоть каждый день ходить на «Христа»!* Я сидел с куском газеты в руках в квартире, чьи окна смотрели на Палашевский переулок, и не мог уместить у себя в голове, что существует ули-

да Пикадилли, где можно просто выйти из дома, просто купить в кассе билет и просто посмотреть представление. Как можно жить в такой одуряющей, с ума сводящей свободе? Как можно выносить жизнь, в которой ничего не надо доставать, а за всем – в том числе и за пластинками Doors – можно прийти в магазин? Люди, живущие в такой жизни, казались мне значительными и глубокими существами, не небожителями, но и не обитателями нашей дряхлой и ветхой земли.

В те годы, живя в замкнутом пространстве Союза, дыша спертым воздухом убогих канцелярий, шурша справками и характеристиками, в окружении гуи-гуи-гуи и лапутян, стукачей и ловкачей, мы имели самые странные представления о внешнем мире. Во внешний мир попадали только две категории граждан – кагэбэшники разных профессий и артисты. С кагэбэшниками я не общался, а на музыкантов, побывавших за рубежом, смотрел как на возвышенных существ. Я знал гобоиста, который играл в Париже! Я знал скрипача, который гастролировал в Брюсселе! И я слушал их рассказы о дальних странах с открытым ртом, с заранее подготовленным восхищением. Это были рассказы, которое стоило бы записывать, и тогда они составили бы конкуренцию бредням Марко Поло о людях с собачьими головами и фантазам Кортеса о золоте, которым увешаны индейские вожди в запредельной глубине таинственных джунглей.

Doors были группой, аккомпанирующей моей любви. Лю-

бовь отщепенца в 1974 году не могла быть ни счастливой, ни безмятежной; вокруг нас был враждебный мир, укрыться от которого можно было только в кафе «Московское» или в баре на втором этаже гостиницы «Москва». Там можно выпить и поговорить, но там не поцелуешься. Для поцелуев предназначались подъезды. Зимой мы забивались с холода на седьмой последний этаж, клали варежки на раскаленную батарею, стояли у окна и глядели в мрачную черную ночь. О, тусклые лампочки на лестничных площадках и широкие белые подоконники могучих сталинских домов, как хорошо я вас помню! Когда мы ходили по улицам – а мы все время ходили по улицам, мы были бездомные любовники, не имевшие никаких шансов на собственное жилье, – то с жадностью заглядывали в окна. Мы ухватывали в окнах каждую деталь, и эти детали и подробности пронзали нас тоской. Угол картины в золотой раме, небрежно брошенные на спинку стула брюки, письменный стол с уютной зеленой лампой, над которым, не чувствуя наших взглядов, склонялся мужчина в крупных профессорских очках, женщина в красном свитере, с распущенными светлыми волосами, стоящая в кухне у плиты, высокий, до потолка, стеллаж, сложенный из чешских книжных полок, с оранжевым Майн Ридом, синим Марк Твенем... уютная, устоявшаяся, теплая советская жизнь текла за этими окнами. Там хорошо пить чай на кухне, читать в кресле книжку, дремать, смотря программу «Время» по телевизору. А мы все время оставались

вне. Это был наш рок-н-ролл.

Это не я открыл Doors, а она. Я был весь, как в скафандре, в Deep Purple и в Uriah Heep. Этот скафандр защищал меня от враждебной советской среды. Я раскрашивал ее бесцветные пейзажи прекрасными соло Блэкмора и поднимал над головой, как флаг, то *July Morning*, то *Highway Star*. *Waiting for the Sun* я послушал с недоумением. В музыке не было тех тяжелых гитарных риффов, которые я так ценил, не было грубых и сильных ходов, обрушивающих сознание. Это было что-то камерное, местами изящное, местами красивое, но, в общем, что-то слишком тонкое для моих мозгов. Но она, расхаживая по комнате, – невысокая, гибкая, с длинными черными волосами, соблазнительная в своем зеленоватом прокуренном свитере, замшевой юбке на пуговицах и шнурованных сапогах – взмахивала маленькими ладонями, словно зачерпывая воду, и говорила мне: «Нет, вы послушайте эту вещь!» И я слушал. Слушал и слушал. И до меня доходило.

До меня доходило, что *Strange Days*, сочиненный в солнечном Лос-Анджелесе и записанный в студии, до которой из Москвы за всю жизнь не доехать, – это музыка о нас. О нас с ней, о наших длинных блужданиях по темным улицам, о наших лихорадочных разговорах, о белом снеге и черном лесе окраин, о тоске, которую вызывают чужие окна и чужая жизнь. Никогда в жизни я больше не испытывал такой прон-

зительной, такой острой тоски, как в те зимние дни, когда мы ехали куда-то в промерзших автобусах с мутноватыми белыми стеклами и потом шли пешком по пустынным улицам в блеклом свете фонарей. Мелочь, брошенная в кассу автобуса, ударяясь о железку, издавала леденящий звук. На улице редкие прохожие прятали лица в воротники, держали руки глубоко в карманах. Они торопились домой, в свои малогабаритные квартиры с желтыми обоями, к своим чайникам и котлетам. Вдоль тротуаров медленно ползли огромные, похожие на чудовищ, снегоуборочные машины, их железные лапы делали ритмичные захватывающие движения, и с верхушки стрелы в кузов грузовика заворачивающе-медленно сыпались куски слипшегося снега. Во всем этом – в ледяной ночи, в огромных машинах, в походке прохожих – было что-то неживое, механическое, как будто мир лишен души и представляет собой всего лишь набор шестеренок и пружин. И над всем этим черно-белым промерзшим миром звучало торжественное фортепьяно *People Are Strange*, и тоскующий голос Моррисона спрашивал с интонацией нарастающего отчаяния и глубокой, безнадежной тоски: «When you're strange? When you're strange? When you're strange?»

Однажды она пришла на свидание с широкой красной полоской на шее. Попытка самоубийства. Она пыталась повеситься в ванной комнате. Это была не игра в самоубийство, а самая настоящая попытка отправиться на тот свет. Из тогдашнего Советского Союза нормальному человеку то-

гда больше отправиться было некуда. На красную полоску, перетягивающую горло, было больно и страшно смотреть. После того как она так удачно не повесилась, у нее разыгрался аппетит, и мы тут же пошли в наше любимое кафе «Садко», уселись за столиком в углу и устроили пир горой. заказали мясо в горшочках, салаты, белые мягкие булочки, бутылку грузинского вина «Киндзмараули». Вокруг нас шла обычная вечерняя жизнь московского кафе, по залу бегала официантка в коротком синем платье и передничке, входили мужики в сапогах со стоптанными каблуками, звучал смех, на полу таял снег, за соседним столиком смачно распивали водочку из графина молодой снабженец и пожилой снабженец. А мы ужинали со вкусом и подробно, оживленно обсуждали способы самоубийства, музыку Doors и другие столь же интересные вещи. Что-то нас развеселило, и мы хохотали, потешаясь над самими собой.

Советский Союз был не приспособлен для жизни. Дело даже не в постоянном дефиците еды, жилплощади, книг и пластинок, дело в чем-то другом. Это была страна смертельной тоски, которая, как стилет уголовника, могла пронзить вас насквозь в любой момент вашей жизни. К концу советской эпохи я уже сходил с ума, был близок к клиническому помешательству. Я чувствовал себя как человек, которого на всю жизнь заперли в лифте. Он просидел в лифте десять лет и сейчас разобьет себе голову о его стену. Но и западный мир, в который я попал после того, как границы откры-

лись, при ближайшем изучении оказался тоже малоподходящим для обитания. Конечно, книги, пластинки и сардельки там были в изобилии, но стоило только чуть-чуть войти в эту жизнь, погрузиться в нее, как ты чувствовал все тот же мерзкий запах лицемерия, гнусности, подлости.

Я не исповедую никаких политических, социальных, философских или нравственных идей. Я не принадлежу ни к каким партиям и группировкам, не вхожу в банды и своры, не являюсь членом мафии, другом или недругом власти. Все эти игры кажутся мне не имеющими отношения к жизни. У меня нет идеологии – зачем нормальному, здоровому человеку идеология? – и нет никакого желания улучшить мир. Не потому, что он хорош, а потому, что от всех подобных попыток он становится только хуже. И поэтому все, что я говорю, не является ни поучением, ни осуждением. Я просто пытаюсь понять какие-то вещи.

2.

В сентябре 1994 года на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке были проданы двадцать шесть рисунков Джима Моррисона, которые он сделал в возрасте пятнадцати и шестнадцати лет, учась в школе в Аламеде. Нынешний хозяин коллекции мне не известен, а продавцом был человек по фамилии Форд, когда-то учившийся в школе вместе с Джимом. Мальчишеские рисунки давнего приятеля валялись у него то ли на чердаке,

то ли в сундуке много лет, пока он, наконец, не вспомнил о них. Прошло еще двенадцать лет, и на интернет-аукционе Ebay.com были выставлены литографии, сделанные с этих рисунков. Тираж составлял 250 экземпляров, цена за коллекцию – 1031 доллар. Литографии продаются до сих пор.

Эти рисунки выдают все несчастье подростка Моррисона. Он рос в нормальной, полной семье, у него были папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра, но кажется, что когда он рисовал свои картинки, то скалился, как маленький зверек, загнанный в угол. Это худосочные рисунки, в некоторых из которых части человеческих тел закрыты черной плашкой со словом «censored». Это карикатуры на людей, которые за чем-то садятся трупу на лицо, занимаются сексуальными извращениями, мастурбируют, скалят рожи. Ноль сочувствия, одна только едкая насмешка пронизывает рисунки. Они сделаны с явной целью уязвить, задеть, оскорбить. Его отвращение к миру столь сильно, что не исключает и самого себя. На автопортрете Джеймс Дуглас Моррисон, мальчик из добропорядочной американской семьи, сын морского офицера и домохозяйки, похож на мерзкую обезьяну. Это странно. Никто никогда ни в каком возрасте не считал его уродливым, никто никогда не видел в нем обезьяну. Наоборот, люди находили (и до сих пор находят) его красивым, соблазнительным, эротичным, привлекательным, героическим, однако он, глядясь в зеркало, видел что-то другое.

Его рисунки свидетельствуют о шоке жизни, об ужасе

жизни, о страдании жизни. Это рисунки мальчика, который не может справиться с черным светом, льющимся в его мозг. В этом свете все предстает не таким, каким было только что, в счастливом, наполненном солнцем, безмятежном детстве. И не таким, каким изображают ему жизнь его добропорядочные родители. Он не может справиться со знанием о том, что человек смертен, и что человек уродлив, и что человек сексуален, и что мастурбация постыдна, и что существуют извращения. С родителями говорить про это невозможно. Рисунки потому и попали к однокашнику по фамилии Форд, что художник опасался хранить их дома. Вот тут, с этих тайных рисунков, нацарапанных тонким пером на плотном листе бумаги, с этих дурацких картинок, на которых дурацкие люди делают идиотские вещи, и начинается отщепенец и поэт Джим Моррисон.

В первом, самом раннем и самом глубоком воспоминании, которое взрослый Джим Моррисон отыскивал в своей душе, он видел застекленную террасу, на которую бабушка выводит за руки маленького мальчика и его сестру. Дети босые, в пижамах. Только что их подняли из постели. Бабушка хочет, чтобы они посмотрели, как с океана надвигается ураган. Маленький мальчик стоит, молча прикинув лицом к холодному стеклу, и видит, как ветер яростно треплет листья пальм на высоких стволах. Небо быстро темнеет. Двор и улица пусты. В мире тревожно. В серых тучах вдруг сияет

маленькая молния-змейка.

У мальчика Джима была своя космогония, довольно-таки странная. Он представлял Вселенную в виде огромной змеи, все тело которой покрыто миллионами миллионов сияющих чешуек, и каждая из них – это человек, или собака, или лев, или ландшафт, или яблоко, или река, или радуга, или любое другое явление нашего бесконечно богатого мира. Огромная змея свивается в кольца и медленно ползет, поднимая серебристую голову с маленькими красными глазами. От ее движений по миллионам чешуек проходит волна. Так он представлял себе жизнь. В этом странном, ненаучном представлении было что-то доисторическое, словно мальчик жил не в белом доме с холодильником и телевизором в штате Флорида во времена президента Эйзенхауэра, а в глинобитной хижине на берегу Нила во времена фараона Рамзеса.

Его маленькая детская жизнь с самого начала была подключена к огромному резервуару времени. Родители говорили ему, что его предками были жители гор, древние шотландцы, воинственные люди в клетчатых килтах, умелые в стрельбе и фехтовании; сам же он, до поры до времени исправно ходивший в пресвитерианскую церковь, зачарованно слушал истории о древних христианах, исповедовавших свою веру в пещерах Иудеи и Самарии. Древние христиане были не похожи на празднично одетых, причесанных, благоухавших одеколоном американцев, что собирались в церкви; оборванцы с курчавыми бородами и прокаленными солнцем

твердыми мускулистыми телами жили в той самой пустыне, где Дьявол искушал Христа. В этой же пустыне отшельникам являлись демоны. Маленький Джимми проделал свой тайный путь, ведущий от смиренной молитвы, растворявшей его в Боге, к внезапному ощущению своего неповторимого тела и не желающего смиряться разума; от губ, тихо шевелящихся в ночи, произнося Отче Наш, к губам, радостно выкрикивающим самые дикие богохульства. К десяти годам он уже имел собственную религиозную историю, не менее захватывающую, чем религиозная история стран и народов.

Это была потаенная история одинокого мальчика. В семье ему не с кем было говорить о пророках, демонах, древних христианах, искушениях и спасении. К отцу он, его брат и сестра должны были обращаться, как подчиненные во флоте, прибавляя к каждой фразе слово «сэр». *Разрешите встать из-за стола, сэр? Разрешите уйти из дома до шести часов вечера, сэр?* Так говорил маленький человек, стоя перед большим, который строго кивал в ответ. Двойная жизнь была неизбежна, умение прятать мысли и скрывать чувства становилось основой выживания. Для одномерных взрослых, помешанных на четких правилах поведения, этот мальчик мог казаться странным, скрытным, двуличным, иногда опасным, иногда глупым и не понимающим самых простых вещей. Но порой, вдруг, он казался учителям в школе умным не по годам, чересчур умным, излише и опасно умным.

Из всего, что он сочинил до 1965 года, сохранились только два стихотворения. Оба свидетельствуют о том, что он не просто знал факты прошлого, а переживал их. Одно стихотворение, посвященное службе почтовой доставки «*Pony Express*», он написал в возрасте десяти лет, пораженный мужеством маленьких лошадок, которые в шестидесятые годы девятнадцатого века доставляли письма через прерии, горы и пустыни. Другое, *Horse Latitudes*, окруженное странными пугающими звуками, было издано в 1967 году на альбоме *Strange Days*; в нем рассказывается о лошадях, которых в штить сбрасывали с парусников в Сарагассовом море. Многие не верили, что Моррисон написал такое сложное стихотворение в юном возрасте, еще учась в колледже, но он настаивал на этом. По стилю оно неотлично от его позднейших творений, в которых мир предстает разбитым на куски, и в каждом осколке отражается чье-то искаженное лицо, и цельной картины нет, а между строк тяжелыми испарениями поднимаются абсурд и жестокость.

В начале шестидесятых годов он жил у бабушки с дедушкой в городке Клируотер во Флориде. Дом Пола и Каролины Моррисон находился по адресу 314 Норт Ошеола авеню. Он был снесен бульдозером 15 августа 2006 года; теперь тут стройплощадка, где возводятся фешенебельные башни. Это был просторный американский дом, внахлест обшитый вагонкой (сайдинга тогда еще не существовало), крашенной

в белый цвет. Типичный американский дом, просторный, с большими окнами, с застекленными до середины высоты дверями, но на русский взгляд чересчур легкий и непрочный. У нас бы этот дом назвали дачей. Нет в нем основательности жилища, которое своими толстыми стенами должно защитить человека от снега, холода, ветра и прочих грубостей жизни.

Застройщики, купившие участок на Ошеола авеню и снесшие дом, где Моррисон провел детство, вложили в дело миллионы долларов, но не пренебрегли и пустяками. Они разобрали пол в комнате, где жил мальчик Джим, и выставили его на продажу. Возможно, какой-нибудь богатый поклонник Doors велел уложить эти доски поверх ковров в своем особняке и теперь с наслаждением ходит по ним босиком, вступая таким образом в непосредственный контакт с духом Повелителя Ящериц. Впрочем, на продажу был выставлен не только пол, но и окна, в которые смотрел шестнадцатилетний Джимми, а также две ручки, снятые с двери, ведущей с улицы в его комнату. Я посмотрел на эти ручки: обыкновенные деревянные кругляши, покрытые лаком. Такие и по сей день можно купить в любом магазине стройтоваров что в Америке, что в России. У меня такие стоят на дверях на даче. Ничего в них нет примечательного, если не считать, что они хранят тепло *его* ладони.

Самое главное обстоятельство в жизни Моррисона тех лет состояло в том, что он имел отдельный вход в дом. Он мог

прийти когда хотел и уйти когда хотел: потрясающая привилегия для подростка. Эта узкая дверь находилась на задах дома, к ней вели три деревянные ступеньки, которые он, скорее всего, перепрыгивал одним махом. В его комнате было три окна с частым переплетом. На этом наши знания о топографии дома заканчиваются; мы понятия не имеем, где стояли кровать и стол и что вообще еще находилось в его комнате. Из воспоминаний жителя городка Клируотер Филя Андерсона, опубликованных в газете «San Petersburg Times», мы знаем только, что Джим Моррисон уже тогда был маниакальным читателем. Его комната была завалена книгами. И выпивохой пятнадцатилетний парень тоже уже был: бабушка Каролина часто находила под его кроватью пустые бутылки. Из этого вряд ли стоит делать вывод о его предрасположенности к алкоголизму. Я в пятнадцать лет, сидя над раскрытой тетрадкой с идиотскими упражнениями по алгебре, тоже держал под письменным столом бутылку водки, а вечерами с двумя друзьями ежедневно распивал то портвейн, то красный кубинский ром в узкой щели, возникшей по недосмотру архитекторов в глубине дворов на улице Горького. Это не предрасположенность к алкоголизму, это предрасположенность к свободе.

Поэтическими опытами в нашей щели мы, кстати, тоже занимались. Справа была кирпичная стена до неба, слева кирпичная стена до неба, под ногами полоска асфальта и разбитый деревянный ящик на ней. На ящике мы поперемен-

но посиживали. И, я помню, мой друг спросил, какие ассоциации вызывает у нас слово «Катманду», и весь вечер, передавая друг другу почтую бутылку густого сладкого пойла, мы представляли перед собой то солдата Катчинского из «На Западном фронте без перемен», то яркого попугая какаду, невозможного в серой Москве.

Джим Моррисон вырос в семье военного моряка, сделавшего блестящую карьеру. Джордж Стивен Моррисон вступил во флот в восемнадцать лет, окончил военно-морскую академию в Гонолулу и в 1963 году стал самым молодым адмиралом ВМФ США. В тот год ему исполнилось сорок три. Когда Джим еще был мальчиком, его отец уже командовал авианосцем «USS Bon Homme Richard», спущенным на воду в 1944 году и получившим название в честь фрегата, сражавшегося в битвах войны за независимость. В 1964 Моррисон-старший на своем авианосце ходил к берегам Вьетнама и принимал участие в операции в районе Тонкинского залива. С этой операции началась многолетняя американо-вьетнамская война.

Контр-адмирал Моррисон гордился своим кораблем и однажды решил показать его сыну. Там было чем гордиться. Авианосец «Bon Homme Richard», принадлежавший к классу «Essex», имел водоизмещение 27 тысяч тонн. Он нес сто самолетов, на борту находились 2600 человек команды. Прогулка мальчика Джима по громадному судну, способному

в одиночку вести войну со страной средних размеров, состоялась в январе 1963 года, незадолго до того, как авианосец ушел с особой миссией в Тонкинский залив. Можно представить себе, как высокий сухощавый контр-адмирал представлял офицерам сына – мальчика с ясным лицом и задумчивыми глазами – и водил его по просторным палубам, отсекам и ангарах, где стояли истребители. Есть фотография, показывающая подростка Джима вместе с отцом на капитанском мостике корабля. Известно также, что Джим отказывался стрелять из крупнокалиберного пулемета, установленного на борту, но отец его заставил. Мальчик должен почувствовать мощь оружия, выпускающего тысячу смертей в минуту, должен ощутить все наслаждение и очарование войны! Отец хотел приобщить сына к мужскому миру, но маленький выпивоха Джим ценил не пулеметы, а любовную лирику Овидия. А стрелять из пулемета казалось ему глупостью.

И каждый день менять рубашку казалось ему глупостью. И пить только кока-колу и пепси-колу – эти два химических продукта американской цивилизации – казалось ему глупостью. И спать по ночам казалось ему глупостью, он предпочитал читать. Бабушка Каролина говорила о нем, что он был мальчик не злой, а странный. Ну да, в мире настоящих бронированных мужчин, командующих авианосцами, странным кажется нервный мальчик, постоянно держащий нос между страницами книги. Этот мальчик не хочет стричься, не хочет чистить туфли, не хочет заниматься спортом, не хочет

носить брюки со стрелкой, не хочет и думать о том, чтобы стать военным. Этот мальчик одинок в семье и не знает, что на другом конце Америки, в Лос-Анджелесе, другого мальчика, по имени Роберт Аллан Кригер, только что застукали в школе с дозой гашиша. Разъяренный отец отправил его на год в военное училище Менло-Парк, чтобы там он поучился дисциплине, но держи карман шире, папа: Роберт Кригер научился не дисциплине, а игре на гитаре. Выйдя из военного училища, этот несломленный герой отпустил длинные волосы и продолжал раз от разу покуривать травку. Через несколько лет эти двое – Джим Моррисон и Робби Кригер – встретятся в группе Doors.

О детстве Джима и отношениях в семье почти нет свидетельств. Его родители никогда – ни до его смерти, ни после – не давали интервью. Брат Энди был более словоохотливым и несколько раз рассказывал журналистам о строгом воспитании. Строгость в такой семье предполагается. Как еще должен общаться с детьми офицер, плавающий по морям и океанам на бронированной громадине высотой с шестизэтажный дом и отдающий приказы двум с половиной тысячам человек? Детей в этой семье не наказывали, но их вызывали на собеседование и говорили с ними так долго и так строго, что они раздражались слезами. И все-таки тут больше можно понять не из немногочисленных фактов, которые удастся выудить из редких интервью, а из опыта и памяти собственных юных лет. Между средним классом в Амери-

ке в начале шестидесятых и в Советском Союзе в начале семидесятых есть странное соответствие. И там и там заборы и стены, сжимающие пространство свободы до узкого пятачка в щели между домами. И там и там ощущение сдавленности, вызывающее мечту о побеге. И там и там большой взрослый мир и маленький преступник, которого зажали в угол и душат, сминая ему горло толстыми лапами. И главное: тупое, самодовольное, непробиваемое убеждение этих людей в том, что жить должно лишь так, как они живут... А ну-ка пойдите все к черту, убирайтесь к дьяволу, я сбегу от вас на край света, я провалюсь в ад или взлечу в небеса, но освобожусь от вас всех! Любой ценой!

«Папа, Америка и Россия это одно и то же!» – сказала мне однажды моя дочь, вернувшись из Америки, где полгода провела в Гарварде; меня ее открытие удивило. Мне это не приходило в голову. Наверное, я привык скользить по поверхности, думать газетными штампами. Ее слова словно открыли мне глаза; и в томительных кадрах фильма Моррисона «НУУ» я увидел тоскливый родной простор, и бугристые неухоженные обочины, которые сотни раз видел под Серпуховом или Чеховом, и убогое жилье, и сохнувшее белье, и уходящие в бесконечность дороги, от которых веет забвением и сиротством. Америка = Россия. Не верите? Но отчего тогда так совпадает наш опыт, отчего тогда и мы, и они обязательно мыслим свою страну великой и сильной, и отчего тогда американец и интеллектуал Джим Моррисон, резким рыв-

ком рвущий рубаху на груди, предстает перед нами обыкновенным русским мужиком, бухающим напропалую?

3.

Пляж много значил в жизни Джима Моррисона. Здесь, в месте, где суша переходит в море, он проводил долгие часы, слушая монотонный шум волн и наблюдая за облаками, проплывающими по горизонту. На пляжах он спал, по пляжам гулял. Здесь, на линии, где кончается Американский континент, он думал о том, что находится на той стороне, за границей видимого мира. И здесь, на пляже, случились две самые важные встречи в его жизни. В 1965 году в Калифорнии, на пляже американской Венеции, он встретил Рея Манзарека и спел ему *Moonlight Drive*. Тремя годами раньше, летом 1962-го, во Флориде, на пляже Клируотера, он познакомился с Мэри Вербелу.

Это было обычное пляжное знакомство – легкомысленная невинная игра молодых людей из хороших семей. Мэри Вербелу, девочка из строгой католической семьи, загорала, лежа на пляже вместе с подружкой, а Джим Моррисон, мальчик из семьи военно-морского офицера, шатался по пляжу с приятелем. Ей семнадцать, ему девятнадцать. Лежа на полотенце на теплом песке, она услышала первый эротический комплимент в своей жизни: «Глянь, какие у нее ноги!» И сразу вслед за этим он врубил свой основной мо-

тор: интеллект. Присев на песок рядом с девушкой в черном закрытом купальнике, он предложил ей сыграть в забавную игру, для которой не надо ничего, кроме спичек. Он высыпал спички из коробка на ее полотенце и объяснил правила: чередуя ходы, они строят пирамиду, и проигрывает тот, у кого в руках останется последняя спичка. Тот, кто проигрывает, на день становится рабом того, кто выиграл. Она согласилась и выиграла.

Она была умная и развитая девушка, но всего ее ума не могло хватить на то, чтобы обыграть в незнакомую игру этого искушенного и хитрого профессионала. Я уверен: он проиграл ей умышленно. Выигрыш польстил бы его самолюбию, но обидел бы ее. Они бы посмеялись и разошлись. У студента колледжа не было никакого донжуанского опыта, но он тут же понял, что только выигрыш дает ему шансы на знакомство. Сидя, поджав ноги, на теплом песке, этот искушенный игрок в спички с развевающимися по ветру черными лохмами обдумывал каждый ход и далеко просчитывал комбинации, чтобы в конце концов рассмеяться и показать ей последнюю спичку у себя на ладони. Удача! Он проиграл! И теперь весь день готов был выполнять ее поручения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.